

Месяц назад, за утренним чаем, мать сказала необычно, не по-женски твёрдо:

— Сын, я постарела.

Алёшка промолчал и наклонился над блюдцем, и при этом его широкие плечи сделались уже. Мать понимала, что не плечи сына сжались от боли, но всё же продолжала:

— Человек никогда не жил один. И тебе нужно женщину! Пусть некрасивую, только бы руки и ноги не были кри-

выми, умела бы огонь разжечь, кисы подсушить, дыру в рукавице зашить. Может всё это — с ней жить можно.

Если бы мать прекратила свой разговор на этом, Алёшка бы вообще не придал её словам особого значения. То же, только чуть покороче, она сказала и год назад. Но сейчас мать, видимо, не хотела говорить впустую и поэтому, помолчав, добавила:

— И потом... ты сам знаешь...

Алёшка взглянул на неё и замер. Замолчала и она, понимая, что у сына есть больное место и бить по нему жестоко.

— Ты зря ждёшь дочь старика Пэтко. Такие не возвращаются обратно.

Сын предчувствовал её слова. Когда-нибудь кто-то должен был сказать ему это. И всё равно, даже матери, не нужно показывать, что очень больно. Мало ли о чём говорит женщина? Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать. Отставив в сторону блюдце и чашку, он откинулся назад, чувствуя, как подступает к сердцу знакомая боль, ставшая частью его души. Боль, давно переросшая в странную болезнь. Любовь становится болезнью души, и от неё нет лекарств, кроме... смерти.

Не приедет... Он сам это знает давно, прежде, чем были сказаны слова. С тех пор, как уехала Илне, прошло не семь дней, а семь долгих лет, и семь надежд, самых светлых и чистых, умерло в нём. А весной семь надежд оживали. Приходила осень, на деревьях и кустах желтели старостью листья, затихала боль. Но ничего не мог поделать с собой Алёшка. Всё верилось, что придёт такая осень и вопреки законам природы не умрут, не увянут листья. И возвратится та, что взяла и не вернула сердце. А тут говорят — жениться, найти женщину очень простую, лишь бы глаза не были на затылке и руки-ноги не слишком кривые.

Оставшись одна, мать некоторое время стояла неподвижно перед огнём. Жизнь научила её, когда нужно, быть женщиной. Муж умер, но не унёс с собой голодных детей, и огонь

не потух в тот час, когда не стало его главного хозяина. Ещё осталась после мужчины та работа, которую не сделаешь ни топором, ни ножом, и ружьём не подстрелишь — давать жизненное течение, чтобы она не расплылась и не засохла, как весенняя лужа, а текла бы рекой, сохраняя при этом свои берега и бег.

В свои двадцать шесть лет сын не мужчина, хотя под носом у него давно почернело. Мужская забота войдёт ему в голову и душу, когда в женском углу чума появится берестяная люлька, и из неё время от времени будет раздаваться требовательный неумолимый крик — «бя, бя». Когда каждое утро к столу будут протягивать ручонки дети — вот тогда мужчина становится хозяином. Сына надо женить, если даже он будет отбрыкиваться руками и ногами. Сердце не в счёт. Сердце человека глупо.

Так решила старая женщина и только после этого, сдвинув вместе мерцающие уголья, раздула огонь. Принятое решение, правильное и единственное, давало ей право смотреть в глаза Великому повелителю человеческих судеб, как в её сознании всегда был и оставался огонь.

Теперь оставалось сообщить решение Душе чума. Она отошла от огня, ярко освещавшего прокопчённые, продыmlенные нюки со множеством латаных-перелатаных дыр. Бережно по очереди погладила три толстых могучих шеста. Они священны. На них лежит тяжесть не только всех остальных шестов и нюков. На них лежит тяжесть прошлого. Чем старей человек, тем родней его прошлое. И они, эти старые шесты, молчаливо, как некую тайну, хранят тени и души ушедших. А после смерти будут хранить её слова и мысли, а значит, и душу.

Сегодня они знают её решение. Теперь в длинные, буранные ночи в них не будет тоски перед смертью. Сын не может не быть в ответе за судьбу своего чума. Время пройдёт, он сам это поймёт, его нужно женить. Вечером она пошла к соседям, и назавтра стойбище стариков занято было только

одной мыслью: в какой конец тундры поехать, в чьём стойбище искать женщину. Нужно женщину не дорогую и не очень дешёвую, чтоб не нагишом приехала, руки бы у ней были неленивые, быстрые, цепкие. Чтоб всякую работу не три раза делала, а шов на кисах и малицах, шитых её руками, не походил бы на вороний след. Где найти такую женщину?

Утром следующего дня весёлый и возбуждённый Вану подошёл к Алёшке и, не церемонясь, спросил:

— Где будем искать женщину? Как думаешь?

Алёшка усмехнулся:

— Пусть мать ищет. Это ей нужна женщина, не мне.

Вану нахмурился, но тут же улыбнулся. Он решил, что всего лучше усмешку не заметить.

— В тундре много хороших женщин. Хорошие женщины, как и плохие, всегда были, но хороших больше.

Алёшка против своей воли опять лишь усмехнулся. Взрослые, как дети, для них женщина, не умеющая шить и развести огонь, плохая женщина.

— Как быть? Где будем искать женщину? — повторил свой вопрос Вану, всё так же хорошо и чисто улыбаясь, с удовольствием понюхивая табачок с ногтя.

Алёшка не ответил. Протянул руку к табакерке соседа, взял небольшую щепоть, давая понять, что не нужно подталкивать его к слову. Он не раз видел, как старые ненцы делали то же самое, медля с ответом или выражая своё уважение к собеседнику. А человек, стоящий перед ним, стоил уважения, но сейчас не нужно, чтобы он улыбался, как глуповатый ребёнок. Ему самому хотелось глубоко-глубоко, постарчески вздохнуть, сесть прямо на снегу и, не стесняясь, рассказать этому человеку, какой непосильный груз тащит он в сердце из года в год, и чем дальше, тем тяжелей ему. И чтобы Вану принял его исповедь-боль как мужчина, сурово. А после, взволнованный душой, сроднённый с ним, не спрашивал наивно, где искать женщину.

— Ты долго молчишь.

Алёшка поднял глаза. Его душа готова была сказать первое слово исповеди, но его неприятно поразили глаза соседа, спокойные, даже с холодком. Совсем не такими должны быть глаза человека, решившегося принять исповедь другого. Исповедь — всегда боль, редко радость и счастье, а боль принять тяжелей, а разделить...

— Да, я долго молчу. Слово тяжёлое.

— Тяжёлое, ничего. Мне больно не будет, если, конечно, ты его не бросишь камнем.

Алёшка колебался. Глаза человека не озерная гладь, чтобы их рябило от внутреннего шторма, и всё-таки... чему верить, как не глазам. Где спрятаны сила и слабость человека — в них. И потом... кто сказал, что человек живёт без своей боли, без тайны души и святого места-уголка, куда не пускают и избранных. И почему он сейчас должен вырвать из себя дорогие мысли и чувства, свои родные, и вырвутся-то они, наверно, с дикой болью и кровью. Зачем отдавать их на суд человеку?

Чтобы быстрее закончить затянувшийся, весь в паузах, ненужный в сущности разговор, Алёшка быстро, неумело донюхал понюшку, привстал с нарты, на которую было сел, и сказал как можно спокойней:

— Пусть мать говорит. У неё язык полегче, а я не могу.

Вану отошёл, и горько ему было от слов молодого соседа. Вот такие у нас времена: хочешь с теплым огнём человеку в душу войти, а он возьмёт и увидит вместо огня в твоих руках палку. Парень не жил ещё, а повёл себя так, будто в гости пригласил, до полога чума довёл, а как надо входить, обратно завернул.

И выходит — будем греться каждый у своего огня, не разжигая общих, а ведь именно около этих огней и согревались для жизни в дни его молодости. Из маленьких прокопчённых котелков и котелочков наполнялся большой котёл, не давший умереть от голода многим и многим семьям.

Скаредничают люди около огней. Варят над ними сытные котлы, отгоняя прочь замерзающих, не сумевших сохранить в непогодину жизни своего стола. А старые ненцы ещё совсем недавно говорили: не можешь несчастного согреть огнём, куска мяса нет, табак кончился, ни понюшки малой — не казни себя, у тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшке по крепости.

Как ребёнок встал на ноги, начинал понимать, зачем на небе солнце, — его учили признавать и понимать эти заповеди, а чему научили наших детей? Таиться, подобно хищному зверю. Жизнь не охота, и в ней повадки зверя вроде ни к чему.

Долго не мог успокоиться Вану. За что бы он ни взялся, вставало перед ним лицо молодого соседа. Не нужно быть особенно чутким и мудрым, чтобы многое понимать. Почему еле стоит соседний чум, когда-то сильный, как дерево с крепкими, здоровыми корнями? И почему собственные сыновья, приезжающие летом, кажутся больными странной, птичьей болезнью: крылья есть, оперение целое, а летать не могут. Берёт сын в руки аркан, а толком ни собрать, ни бросить не может. Топор возьмёт — сразу отберёшь, кажется, вместо дерева он возьмёт и оттяпает себе обе ноги.

Вечером вторично собрался совет стариков, и его решение было веским — женить.

И сейчас Алёшка вспоминал, как упорно следовали они своему решению. Его самого ни о чем не спрашивали, будто не человека женили, а сводили ради породистого щенка кобеля и сучку. Он не пытался их остановить, понимая, что так поступали ненцы всегда. Не вчера родился этот закон и не сегодня ему умереть. Ползти, карабкаться, спотыкаться, но идти вперёд. Нарта жизни, скрипя, кренясь, натываясь на дорожные камни и валуны, должна двигаться вперёд. Вот почему у огня сидит девушка-женщина. Она даст жизнь огню и чуму. Ну что ж... Люди стойбища поступили мудро. А что должен делать он?

За спиной у сородичей прожитая жизнь. А у него? А ничего, одна дурь. Выходит, запутался, словно лиса в своих же следах, и попал в круг — не перепрыгнуть, не выскочить. Куда, собственно, прыгать? Зачем?

Тихо приоткрылся полог, и тенью вошла мать. Лицо её спокойно. Подойдя к нему, она наклонилась и ласково попросила:

— Встань, я сделаю вам постель.

«Постель? Ах, да... — захотелось нехорошо, злобно выругаться. — Постель... тут какая-то гадкая тайна, будто это важно. Постель как постель, камней не чувствуется и гвоздей, торчащих вверх острием, не видно. Что её особо делать?» — с раздражением думал Алёшка, не поднимаясь, а ласковость лица и голоса матери показалась ему показной, хитрой.

Он резко вскочил и почувствовал, что не знает, куда себя девать. Покорно стоять и ждать, когда мать закончит постель — могилу его любви? Дождаться, захлебнуться в своём отчаянии? Сейчас же, немедленно всем доказать, что нет, нет и нет... не загнать силой в постель, он только сейчас понял, как необъяснимо дорога ему его несуразная любовь к далёкой женщине. И мать — как её сердце не сочувствует ему... Обида и слёзы сжали горло. Он схватил ковш, зачерпнув холодной, со льдом воды, стал пить крупными глотками, чувствуя, как внутри рождается уверенная злая сила. Пока мать старательно застилает эту паучью постель, он сумеет защитить себя и своё чувство. Наступил час проверить себя. Легко думать, рассуждать о любви и верности, а как быть, когда рядом на готовую постель кладут женщину. Верно, жизнь могуча и сильна, а я перед ней слепой и глупый щенок. Но я хочу в постели и в жизни ту женщину, которую хочу сам! Хочу и люблю!

Осторожно положив на место ковш, едва сдерживая грубое желание швырнуть его, Алёшка прошагал мимо невесты и вышел. Если бы мать оглянулась и увидела лицо сына, руки её остановились бы сами собой. Дух радости мешал ей понять и лицо, и душу сына...

Много в жизни ночей, а эта ночь одна... Птица прилетает на родное озеро, жмётся тёплым бочком к знакомой болотной кочке и начинает вить гнёздышко. А гнездо любви? Как мрачно и непрочно делают их люди. Торопливо, жадно, порой постыдно, как звери, не заботясь о любви, — мол, вытерпит, живуча. Но нет. Любовь бежит, забирая свою прекрасную душу и оставляя тощий скелет. Почему бы людям не поучиться делать гнёзда любви у птиц небесных? Птичка-женщина всю себя общиплет, лучшие и тёплые пёрышки у себя пообрывает и лишь потом избранника позовёт для любви. Хотя и среди птиц есть дурные, например, гагара. Кочку моховую полохматит, ямку в ней наскоро потопчет — вот и всё гнездо. А потом у озера горько плачет, если ветер разнёс её нехитрое жильё, если муж-гагара клюнет её в злобе, если хищник разроет не защищённую хитростью кочку.

Пусть не гагарьим гнездом сделают руки и сердце постель сына. Пусть верность орла и нежность белой лебеди поселятся в нём. Злой ветер зависти не развеет, и падальный ворон не прилетит, счастье сына не расклюёт. Чтоб не плакал сын одинокой гагарой, когда наступит осень жизни.

За светлой своей молитвой не заметила женщина, как приготовила постель. Невинно, дыша радостью желанья, лежала у изголовья подушка, и не белая, а чёрная, как зимняя ночь, шкура быка ждала непомятой шерстью. Такое же меховое одеяло, мягкое, послушное, ожидало, когда нетерпеливые руки прикроют им наготу любви.

Скромно отвела мать глаза от постели, подошла к девушке и протянула ей руку. Та положила ей на ладонь горячие дрожащие пальцы. женщина уложила её, слегка прикрыв одеялом. Её накроет сам мужчина. Опустила новый ситцевый полог, оставив половину со стороны сына приоткрытой.

Теперь надо ждать сына. В ожидании она подседа к огню и привычными руками развела его. Теперь они не сироты, и собачья смерть не грозит. Одинокая и постыдная старость не согнет спины, и одиночество души не ожидает. Там, где



дети, нет смерти. Вот почему, покупая женщину, мужчина покупает жизнь.

Но сын не возвращался. Боясь выглянуть и никого не увидеть, мать продолжала сидеть у огня, хотя тот давно потух и только среди угольев не уснул глазок огня, откуда-то из-под серой кучи золы высвечивался тонкий, как надежда старой женщины, лучик...

...Стойбище осталось позади и скоро скрылось за густым лесом. Алёшка устало прислонился спиной к большому камню, заросшему коричневым шершавым мхом, и сразу почувствовал, что дальше идти не может. Да и куда? Зачем? Ведь и эта коротенькая дорога была нелепой. Как выскочил из чума, так и понёсся, куда посмотрели глаза и понесли ноги. И вся прожитая жизнь показалась Алёшке тоже обидно нелепой. Как родился, пошёл, куда ноги понесли, глаза посмотрели, и заблудился. Что ищет человек в дороге жизни? Счастье?! А оно, как лиса, — только увидишь, не успеешь за ружьё схватиться, а у неё уж хвост мелькнул за ближайшим кустом. И пока ты в этот хвост целишься, она уже на горе и издалека мехом поблескивает. Бесполезно гнаться за ней даже на самой быстрой и сильной упряжке — себя обманешь, оленей загонишь. И эту немудрёную истину почему он не понял раньше? Потерял, не догнал он свою лису, а ведь только с ней, с той, ушедшей от своей земли, и хотелось жизнь прожить. А она глазами пообещала, словно лиса хвостом поманила.

Отстегнув тугой пояс, он лёг лицом вниз, устало, со всхлипом вдохнул в себя крепкий запах багульника. Не остывшая за короткую ночь трава была тёплой, не колола щёк и шеи, а только нежно шекотала, будто это не мёртвая, пережившая зиму трава, а пальцы любимой ласкали лицо. Пальцы любимой и шёлковая брачная постель... В одну ночь две матери постелили ему постель любви. На которую ему прилечь? Ему, в двадцать шесть лет не познавшему женщину? Которую мать ему послушать? Ту, что осталась в чуме и доб-

рыми усталыми руками заботливо вырыла ему яму-постель, веря всей душой, что ему будет хорошо в ней. Или эту, на груди которой он лежит и которая тоже обманывает его. Ведь это не руки любимой, а всего лишь пожухлая седая трава, ожесточившаяся за зимние холода, и стоит только наклониться ниже, она сделает ему больно.

Как быть? Убежав, как сопливый мальчишка, от женщины, убежал ли он от себя? За что ухватиться в жизни, как обмануть себя? Может, то, что случилось, не так страшно и не нужно истерично бежать куда-то.

Счастье-лиса — хитрый зверь, не всякий умелый охотник его ловит, ни в капкан, ни пулей, но живут же всё-таки, дни идут, и никто не стонет от боли, как он. Пойти обратно и взять женщину, которую нашли, купили, привезли и уложили люди? Может, они и в самом деле знают такое, чего не знает он?

Перевернувшись лицом к небу, Алёшка стал пристально смотреть на цветные облака, блестящие, как яркие, радужные сукна, небрежно разбросанные мастерицей-ненкой. Глаза устали быстро. Он закрыл их. Смотреть в небо — всё равно что пытаться увидеть что-то в дне завтрашнем. А зачем ему завтра, если он не знает, как жить сегодня, как посмотреть в глаза матери и сородичам. И ведь не в сторонке ему жить, а опять вместе, не сиртей в темноте сопки. Он всего лишь капля воды в реке, а ей ли, капельке, не знать, как сильно, неповоротимо течение, и ей ли, маленькой, править бегом вод.

И всё же... Крохотная чистая капелька надежды в душе человека может родить океан. Что если поверить опять... поверить, как не раз уже делал? Поверить, что всё хорошо и умно на земле, а значит, и в его, Алёшкиной жизни. Сколько лет верил тихонько, никому не доверяясь, оживал и был счастлив своей верой? Почему же должен перестать ждать в эту весну? Может, человек тем и жив, что может верить во что-то вновь и вновь?

Нет реки без начала, нет цветка без корня, и не может его чувство умереть за вечер и ночь. Надо ждать. Матери сказать: как привезли женщину, так и отвезите её обратно. Никто не тронул её, цела и невредима.

С земли Алёшка поднялся легко. Высокий, стройный, с сильными разлетающимися плечами, он выглядел так, что не сломить его, не согнуть людской мудрости. У него своя мудрость и свой бог — любовь.